

СВЕТЛАНА МАКАРЕНКО-  
АСТРИКОВА

---

# Дважды любимый

РОМАН-СОНАТА



*jucoolimages.com*

**Светлана Анатольевна Макаренко-  
Астрикова  
Дважды любимый.  
Роман-соната**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=8226477](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8226477)*

*ISBN 9785447401122*

**Аннотация**

Роман о любви и жизни в музыке и словах. Издавался несколько раз, по многочисленным просьбам читателей, в том числе за рубежом. Как иллюстрация уникального жизненного опыта, в качестве эксперимента отрывки из книги читались в школе для слепых детей в США.

# Содержание

Часть первая	5
Часть вторая	50
Часть четвертая	58
Конец ознакомительного фрагмента.	60

# **Дважды любимый Роман-соната**

**Светлана Анатольевна  
Макаренко-Астрикова**

© Светлана Анатольевна Макаренко-Астрикова, 2023

ISBN 978-5-4474-0112-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Часть первая

День снова не задался. Хотя, вроде, все началось, как обычно. Она проснулась оттого, что лучи солнца, пробивались в комнату, пробивались бесстрашно, яростно, почти нахально. Но могут ли солнечные лучи, вообще, быть – нахальными? Они ложились теплотою на ее лицо, лоб, щеки сквозь плотный полумрак портьерного шелка, на котором, – она знала это точно, наощупь, – от ветра, залетающего в открытую фрамугу, тканые, скользящие муаровые бабочки складывали и вновь распрямляли крылья. Иллюзия полета. Иллюзия лета. Лета, у которого нет запаха. Оно солнечно, ярко, но не ароматно. Еле слышно звеня, от сквозняка качались подвески люстры, выпевая какую то свою, особую, хрупкую, тоненькую мелодию. Ее властно перебивало эхо отдаленного, металлического боя, гулко, с еле слышными всхлипами, нудно повторившимся целых девять раз.

«Пора мне быть на ногах!» – подумалось ей, – раз уже и часы проснулись!». Подумалось, но не захотелось. Она сильно потянулась, всем телом, слегка выгнувшись, как дельфин, ныряющий на большую глубину. И снова нырнула в дрему солнечного лета, без запаха.

Но дрема исчезала, не вникая в капризы тела. Исчезала легким дымком, неуловимым жаром, маревом несостоявшегося дождя, обещаемого прогнозами и народными примета-

ми уже который день. Исчезала, всплывающим в окно густым, дразнящим облаком чужого завтрака из пригоревшего тоста, пластика бекона и плохо прожаренного кофе.....

Она уловила все тончайшие нюансы, оттенки чужой жизни, скрывшейся от нее за рамой окна. Пружинисто, сразу, твердо встала на ноги, резко вытянув руку чуть влево, в ту сторону, где висела одежда. Шелк кимоно скользнул по телу. Тотчас же она протянула пальцы чуть вправо, теперь – в изножье кровати, и они привычно наткнулись на живую, густую теплоту кошачьего меха. Животное, своенравно выгнув спину, спрыгнуло на пол, заурчало, потерлось об ее щиколотку.

– Кэсси, идем завтракать! – она улыбнулась, впуская ноги в мягкие тапочки. Кошка, уловив интонацию хозяйки, проскользнула меж ними к двери и побежала по коридору, напряженно цепляя коготками лак паркета.

– Как ты спешишь, Кэсс! Будто бы я тебя не кормила тысячу лет! – Запахивая полы кимоно, она присела перед прозрачной дверцей холодильника, нащупала ручку, повернула, чуть отстраняясь в сторону. Легкие пальцы гаммой – октавой пробежались по полкам, выбрали из вороха свертков, блюдец и пластиковых пакетов – нужное. Поставили миску на пол. Мимолетно прикоснувшись к голове кошки, которая неловко и больно задела локоть.

– Не мешай мне, Кэсси! – в ее голосе звучала легкая, неуловимая досада, и, одновременно, какая то нежная на-

смешливость. – Ты же прекрасно знаешь, я не трону твою еду. У меня еда своя. Сейчас вот, включу чайник, и буду завтракать.

...Кимоно не сковывало ее движений, она тихо и плавно кружилась вокруг маленького чайного стола, словно еще одна муаровая, танцующая бабочка, нечаянно слетевшая с портьеры. Звенела посуда, ароматной струей лился чай в хрупкие стенки чашки, шипели в тостере тоненькие ломтики хлеба. Пахло разогретым маслом, яичницей, вишневым вареньем, лимоном. Но флегматичная персиянка Кэсси уже не отвлекалась на посторонние звуки и дразнящие запахи. Она приникла к своей миске с кормом и ей не помешала даже моцартовская трель мобильного телефона, от которой ее хозяйка, напротив, вздрогнула, выронив из рук ложечку. Капля вишневого варенья тотчас растеклась по белому пластику непонятным, дразнящим, густо – ярким узором – иероглифом. Слегка задев рукавом персикового кимоно забавный, длинный мазок на столе, женщина протянула руку к плоской коробочке, каким то неуловимым, грациозным движением тряхнула ее, и нервные, чуть узловатые в середине, пальцы сыграли, уже привычное им, «виво – крещендо», пробежавшись по дисплею, и коснувшись нужной кнопки.

– Дом Ивинской. Слушаю Вас! – В ее переливающимся, хорошо поставленном сопрано, едва улавливались ноты недоумения – кто мог звонить с утра, да еще в субботу?!

– Попросите Наталию Антоновну, пожалуйста. Я, наде-

уюсь, не слишком рано?

– Ты ведь никогда не вписывался ни в одно правило, Кит, – усмехнулась она, тотчас же узнавая голос. – Зачем тебе сомнения? Я у телефона.

– Да, твою иронию ни с чьей больше не спутаешь. Спасибо, что хотя бы не бросила трубку. Я сначала не узнал тебя. Такие глубокие оттенки, вибрация. Как ты? Ты здорова?

– Все нормально, спасибо! Я завтракаю. Недавно встала. Не выпалась. Соседи со второго этажа разбудили ароматом отвратительного кофе. Боюсь, что сейчас будет болеть голова и заниматься я не смогу. Тебе что-то нужно, Кит? У меня нет особого желания разговаривать с набитым ртом. А с тобою я не хочу говорить вообще. Прости.

– Нэт, ну подожди минуту. Нам нужно поговорить. Хоть немного. Мы не могли бы встретиться с тобой? Я приду в парк около двух.

Она поморщилась:

– Не называй меня Нэт. Мы же не в Америке! И сегодня я не собираюсь фланировать с тобой по аллеям. У меня мало времени. Очень мало, поверь!

– Черт! Это все – невыносимо! Ты поразительно упряма!

– На лекцию о моих недостатках у тебя всего лишь пара секунд, Кит. Это тема мне слишком неинтересна! Выбери скорее другую, или я – отключусь. У тебя дешевый тариф? – Она улыбалась, но человек по другую сторону мобильного экрана не видел этого, и раздражался, постепенно превращая

голос в «кипящий чайник» :

– Нэтти, но послушай же! Я хочу тебя видеть. Мы ни о чем не поговорили, ты ничего не поняла. ....

– Я поняла достаточно для того, чтобы нам можно было расстаться без особой боли. Почему все это продолжает тебя волновать? – В ее голосе звучало искреннее удивление. – Расслабься. Иди по тому пути, который ты выбрал. И мне – не мешай? Прошу тебя.

Пальцы ее снова сыграли крещендо вверх, кнопки осветились на миг и тут же – погасли.

Но почти тотчас же крохотная плоская коробочка снова начала вибрировать, дрожать, двигаться на столе. Некоторое время она придерживала ее двумя пальцами, чертя остальными линию в воздухе. Скорее, даже и не линию, а некий музыкальный контрапункт. Она слышала его внутри себя. Слышала так отчетливо, что встала, и, не окончив завтрака, прошла в большую прохладную комнату, к роялю. Свои торопливые шаги и порывистые, чуть нервные движения, она, уже машинально, привычно, на ходу, превращала в певучую, дробную, несколько отрывистую мелодию. Пальцы ее легко и жадно коснулись клавиш, словно спешили напиться или окунуться в желанную, скользкую прохладу.

Звуки, скрытые всем ее естественном, всею душою, почти тотчас же вырвались наружу, стремительно, своенравно, как стая птиц, в тесное, квадратное пространство комнаты, которое в этот момент стало небом. Она играла стоя. Едва окон-

чив один вариант мелодии, начинала перебирать клавиши снова и мотив, в основе своей нотной гаммы оставаясь почти тем же, приобретал другие оттенки, едва уловимые. Так, лепестки садового цветка-левкоя, флокса или розы, впитывая в себя флюиды и ароматы солнца, ветра, дождя, радуги и гроз, туманов и рос, подчас приобретают совершенно невероятные, непонятно – волшебные оттенки. Такие, которые были бы, вообще то, невысказаны в привычных рамках сорта, вида, возраста или еще каких – либо скучных агрономических и садоводческих правил....

...Все, все ее мелодии были очень похожи на диковинные цветы, расцветающие и распускающиеся словно бы по мановению волшебного жезла. Самое же странное в них, этих мелодиях, было то, что они ни за что не могли повториться, спустя полчаса или даже десять минут!

О, она никогда не могла запомнить их! Выручал ее прихотливую, капризную память во время таких спонтанных, бурных импровизаций лишь компактный музыкальный центр, прячущийся в нише окна, за шторами. Разумеется, если она не забывала включить его. Это последнее с нею теперь случалось часто, особенно с тех пор, как она изменила привычный ритм жизни... Ритм, в котором более не было резкой свежести мужского парфюма, упругого биения струй воды в душевой по утрам. Не было еле слышных звуков шипения «Зиппо». Не было больше того, что ей особенно нравилось.

Аромата вечера. Запаха закатной зари и сожженной наполовину сигареты. Это смешивалось для нее в одно, сливалось: колеблющийся, оплывающий, словно свеча, нежный аромат зари и его сигарет. Она едва заметно усмехнулась про себя: разве же может заря иметь запах?! Никита точно счел бы ее сумасшедшей! Но ей всегда казалось, что все, все на свете имеет запах. Абсолютно все! Запах и абрис. Контур. Оттенок. Цвет же представлялся ей более расплывчатым понятием. Более загадочным и закрытым. С самого детства....



...Ибо, с самого детства самой страстной мечтою ее родителей была та, чтобы вернуть в ее детское, живое мироощущение четкость и определенность, все цвета тех предметов, что ее окружали. Зрение дочери было для них некой бабочкой, птицей – иволгой. Недостижимой мечтою, которая, перепархивала с цветка на цветок, с ветки на ветку, маня за собою и никак не даваясь в руки. Когда она была совсем еще маленькой, ей казалось, что ее глаза, ее ускользавшее неуловимо зрение, так же, как и все вокруг, имеет совсем определенный запах и аромат. Резкий, чуть пугающий. Медицинского бинта, марли, йода, едких глазных капель, нагретого корпуса рефлектора и тех тонких медицинских перчаток, в которые вечно были запрятаны острые и холодно – равнодушные пальцы врача – офтальмолога, то и дело касающиеся ее подбородка, висков, век. А еще ее, неведомое ей, почти скрытое за серой пеленой зрение, имело определенный вкус. Вкус материнских, яростно – тихих слез, которые дочь, выйдя из кабинета, все старалась наощупь, осторожно, едва касаясь, смахнуть с ее щек и шеи. Иногда это удавалось ей. Но чаще мать осторожно, с какою то скрытой досадой, нетерпением отводила ее руку в сторону, хрустела крахмально – тугим платочком, всхлипывала, и как-то особенно нервно и порывисто спешила вдоль коридоров, пахнущих хлором и спиртом, наполненных металлическим, холодным тонким позвякиванием и скрытым, раскаленным, без-

жизненным жаром ламп дневного света. Она почти бегом, неловко оскальзываясь на больничном, хлорном линолеуме, следовала за нею и думала, беспомощно морща лоб в изломе бровей, что и большие лампы, обитающие на больничном потолке, тоже имеют свой, особенный запах, но кому она могла об этом рассказать? Все, что она говорила о своем «мирочувствии», было мало кому понятно. Даже у родных ее все это вызывало, какое то невольное отторжение, неприятие. . . . Снисходительно улыбаясь, меняя тон и звук голоса, впуская в него какое то особое, «металлическое», «айсберговое» напряжение и холод, мать и отец называли ее «милой фантазеркой». И упорно старались облечь детский несовершенный мир не в звуки, запахи и мягкие, расплывчатые полутона, а в реальные краски. «Синий, желтый, зеленый, палевый, красный, фиолетовый,» – твердо и немного занудно, изо дня в день продолжали они. Упрямо тянули ее за руку в свой мир, где все было таким конкретным, но почему-то казалось ей подвешенным в воздухе, непрочным, холодным. Она ловко и бережно ощупывала вещи и предметы руками, втягивая в себя основную ноту, контрапункт их аромата. А каждый звук и каждое слово пыталась ощутить, как гармоничную, едва слышную мелодию. Пальцы ее неустанно гладили и перебирали столешницы, рубцы и кисею скатертей, простыней и полотенец, подоконников и шкафов, корешки книг и края посуды, словно играли на невидимом инструменте. . . .

...Однажды, сидя на кабинетном табурете какого то оче-

редного офтальмологического «светила», она, тогда еще шестилетняя кроха, забывшись, взяла пальцами несколько тактов воображаемой ею мелодии на углу массивного дубового стола, с холодно – зеркальной, полированной поверхностью. Мать никак не успела отреагировать на ее вольность. Повисла напряженная тишина. Профессор – офтальмолог откашлялся и, повернувшись в скрипучем кресле в сторону зашторенного, пахнущего пылью окна, веско произнес:

– Девочке уже шесть. Ей пора учиться всерьез. Вы не думали купить ей рояль?

– Но, доктор! – Мать всхлипнула, защелкала ридикюлем. Послышался знакомый хруст платка. – Она же не увидит ноты. А как без этого?!

– Ноты важно слышать. Звуки – ощущать. Музыка это то, что подвластно даже абсолютной темноте. Сколько я мог заметить, слух у нее прекрасный. Абсолютный.

– Да, – голос матери был слегка растерянным. – И лор – врач сказал то же самое. Она слышит, как распускается лилия в букете.

– Замечательно. Ищите педагога. Азбуку, и ту можно выучить нотами. Если в музыкальную школу ее не возьмут, она вполне сможет заниматься дома.

Мать с сомнением пожала плечами:

– Есть ли смысл? В ее состоянии, что ей даст музыка? Она же не сможет заменить ей всех ценностей жизни.....

– Музыка сама по себе столь величайшая ценность, что

вполне стоит остальных! – тотчас оборвал беспомощный лепет профессор. – Еще смотря, что под ними, этими ценностями, подразумевать, уважаемая!

– Но Наташа ведь инвалид. Она не в состоянии ориентироваться в пространстве. Какой тут рояль!

– Кто это Вам сказал, что она – инвалид? Атрофия зрительного нерва и отслоение сетчатки развивает исключительно высокий порог тактильных, вкусовых, слуховых ощущений, что дает возможность человеку с резким ограничением зрения прекрасно ладить с пространством. У Вашей девочки есть все, что так важно для развития ее индивидуальности. Главное – абсолютный слух! Не закапывайте все это в землю, милейшая, грешно! Нужно дать ребенку опору, основу жизни. Для нее это не цвет, а звуки, запахи, ощущения, контуры, переживания, понятия. Особые, свои.... Ее богатый внутренний мир – ее главная ценность. Вам нужно понять именно это, и развивать ее мир как можно сильнее, дальше и дольше. Лишь это имеет смысл для нее. Ничто иное.

– А если еще одна операция, доктор? – с безнадежным замиранием сердца, едва слышно уронила мать, будто бы вовсе и не вникнув в последние слова врача, отстранив их от себя, испуганно отмахнувшись....

Внутренний мир дочери был для нее той пугающей гранью ирреальности, той дверцей зазеркалья, в которую она боялась войти, которую не хотела отворять. Которой просто,

быть может, и не видела.

– Бесполезно, милейшая. Атрофия развивается столь стремительно, что мы практически не можем ее контролировать. Видимо, в процесс заболевания вмешались какие-то генные, неподвластные нам пока, факторы, увы!

Наташа почувствовала по теплой струе воздуха, словно рассекшей кабинет надвое, что профессор энергично развел руками.

Вокруг нее за клубился незнакомый аромат: не резкий, чуть горьковатый, пахнувший одновременно осенними листьями, дождем и хвоей, смешанный со странным приторно – густым запахом лимонной карамели. «Он любит „Лимончик!“ Как я! – весело подумала девочка. Конфетка лежит в его кармане, и она чуть подтаяла. Наверное, когда мы уйдем, он вытащит карамельку и съест ее. Если не съест, то она запачкает ему халат. В кабинете так жарко». Она углубилась в свои мысли, улыбаясь им, и не заметила, как мать защелкнула сумочку. Обычно этот звук означал, что им пора было уходить. И они всегда стремительно покидали клинику. Но в этот раз мать словно боялась чего-то. Взявшись за ручку двери, она все еще медлила, будто растягивала доли секунды, а они что-то томительно пели ей в ответ: басом, безнадежно, отрывисто, глухо, скупно.

– Доктор, что же, совсем нет надежды? – наконец просительно прошелестела она. Ответа не последовало, только воздух в кабинете опять растекся теплой, удушливой волной

лесного запаха, к которому почему-то теперь примешивался аромат морского ветра. «Должно быть, он покачал головою, вымытой шампунем „Бриз“, как у папы!» – опять безошибочно и весело угадывала Наташа. Ей нравилась эта игра.

.... Что-то сдавленно булькнуло в горле матери, и, едва выйдя в коридор, она бессильно опустилась на мягкий, кожаный пуф возле двери, дав волю глухим рыданиям. Неловко потоптавшись возле нее долю секунды, девочка решительно протянула руку к ее щеке, пахнувшей мягкой пудрой «Roche».

– Мама, ну что ты! Ну, не плачь. Мне, ты знаешь, нравится больше угадывать Вас всех, чем видеть. Это как игра. И потом, ведь только я знаю, чем пахнет солнышко. Я уже привыкла. Мне так лучше живется. Не надо плакать, мама! – Наташа говорила тихо, серьезно, обдумывая каждое слово.

– Но ты же никогда не увидишь солнце, детка! – мать ошеломленно и больно сжала ее плечо. Наташа слегка наклонила голову набок, чтобы ослабить эти тиски отчаяния.

– И ничего, что не увижу. Оно ведь все равно не любит, когда на него смотрят. Пойдем, мамочка. Пойдем. Расскажем папе про рояль....

Она легко потянула мать за руку. Уже изрядно поредевшая очередь, тихо гудящая в больничном коридоре, с удивлением оглядывалась на несколько странную пару: крохотную слепую девочку в ярком платье, с бабочками на кармаш-

ках, уверенно ведущую за руку зрячую, заплаканную мать. Малышка ни разу не оступилась и не поскользнулась. Даже на ступенях огромного холла, ярко освещенного рядом широких люминесцентных ламп. Запах улицы, проникавший сквозь широкие, строго – эlegantные, фотоэлементные, двери, манил ее за собою, чуть дразня и так властно охватывая все ее существо изнутри, что легкая неуверенность, обычно немного присущая ей во всяком незнакомом пространстве, исчезла бесследно. Ей так хотелось поскорее ощутить на своем лице теплые ладони солнца, пробивающегося сквозь плотную серую завесу на ее глазах каким то огромным, колеблющимся белым пятном, что она, почти вприпрыжку, слетела с широкого подъездного крыльца, огражденного от тротуара массивными столбиками на цепях. Цепи слегка позванивали от ветерка, словно перешептывались с ним, но этот нежный звук не был услышан никем, кроме нее.... Так было всегда. Ее мир звучал и жил почти для нее одной. Во всем этом явно присутствовала, какая то несправедливость. Горчившая сильнее, чем любимый ею шоколад. Но – какая? Ей не было понятно до конца, просто неприятно щипало в носу и горле, едва лишь она задумывалась об этом, мимолетно, до соленой боли закусив губы...

...Рояль появился в их доме почти одновременно с Валерией Павловной, учительницей музыки. С самого первого момента своего появления в их доме, когда она еще только

вложила в свои сильные и гибкие пальцы прохладную ладошку девочки, Наташа почувствовала сильный прилив крови к голове и неожиданное, жаркое, нетерпеливое биение сердца, словно готового выскочить из груди. Она не могла объяснить себе этого волнения, да и не старалась. Просто взяла в ладони лицо присевшей перед ней на корточки Валерии Павловны и нежно ощупала тоненькими пальчиками, словно играя на нем одной ей знакомую мелодию, таинственную гамму, состоявшую из звенящих октав запаха духов Валерии Павловны. Горьковатый, прохладный цитрус. Нездешний запах, не приторная сладость вечных, сбереженных в тени горки с посудой, материнских «Клема». Она влюбилась в этот аромат сразу, как и в голос учительницы – ясный, уверенный, с глубокими низкими нотами, вибрациями, переливами интонаций. Он словно распространял вокруг себя ауру уверенности. Девочке этого всегда не хватало. И Наташа потянулась к голосу и аромату учительницы, ловя глубокие звуки и запахи жадно открытым, трепещущим, смущенным краешком души.

Волосы Валерии Павловны на ощупь тоже оказались приятными: шелковистыми, мягкими, и пахли они, почему-то ореховыми скорлупками, теми самыми, на которых мама настаивала терпко – вязкий ликер, которым с гордостью угощали в доме редких гостей. Предложили ликер и Валерии Павловне, но она только слегка смочила в нем губы. Потом они с Наташей ушли в большую комнату, знакомиться с инстру-

ментом, который вытеснил из сжатого пространства стандартной трехкомнатной «хрущевки» почти все: телевизор, складной стол, стулья, шкаф с посудой... Рояль теперь царил в комнате. Наташа не видела его победного лакированного сверкания, подавляющей громадности, но, только услышав звук первой ноты, сразу представила себе незнакомца в доме внутренним зрением: в ее воображении он был похож на огромного и басовитого шмеля. Она сказала об этом Валерии Павловне. Та рассмеялась – открыто, звонко:

– Детка, рояль, скорее, похож на раскрывшую крылья бабочку. Он может летать и поможет взлететь тебе. Подойди ближе, познакомься с ним. Не бойся его. Это теперь твой самый большой друг, поверь! – Валерия Павловна остановила осторожным движением руки, рассекшей напряженный сгусток воздуха в комнате, неловкое, остерегающее движение Наташиной матери, но, когда девочка подошла ближе к инструменту и потянулась, вставая на носочки, чтобы ощупать его, она мягко коснулась ладонью ее головы, провела пальцами по спине... Тепло тотчас охватило Наташу, успокаивая, утишая внутреннюю, нервную дрожь, едва заметную постороннему глазу. Она удивленно подняла лицо в ту сторону, откуда шел прохладно – терпкий запах духов учительницы, и, повинувшись неосознанному порыву, осторожно обняла ее, уткнувшись лицом куда-то прямо в живот Валерии Павловны, словно хотела полностью раствориться в странном аромате, дразнящем ее, будоражащем воображение и обеща-

шем что – то сказочное, небывалое, непривычное...

– А бабочки тоже так горько и прохладно пахнут, как Вы? – тихо и неожиданно для самой себя спросила она, сжимая в своей ладошке теплые пальцы учительницы. Та опять неудержимо рассмеялась в ответ:

– Может быть. Не знаю. Мне кажется, есть бабочки, которые пахнут карамелью, вареньем, астрами, лимоном. Это зависит от того, где они сидели... От того, какое место или какой цветочный куст был их домом. Есть даже солнечные бабочки. Они, уж точно, подлетали к самому солнцу... Хочешь, я сыграю тебе одну такую бабочку, звуками покажу, какая она? Заодно ты услышишь, как умеет разговаривать твой новый друг. Ведь нотками можно разговаривать со всем миром, рисовать любые картины. Мы с тобой обязательно этому научимся, обещаю!

Они учились... Упорно, вдохновенно. И в доме звучали попеременно: то горное эхо, то едва слышный, шелестящий по веткам и листьям каплями, летний дождь, то клекот чайки над озером, то шуршание гальки на морском берегу. И лилия, разумеется, распускалась в букете; и плакал и свистал соловей, где-то в тенистых рощах, напоенных ароматом лавра и лимона; и роза, нежно шевеля хрупкими лепестками, застенчиво просыпалась в садах солнечного Крыма или где –нибудь на Корсике..... Под звуки музыки Валерия Павловна часто читала играющей Наташе вслух, а в перерывах между

занятиями просила ее прослушивать аудиозаписи не только знаменитых фортепианных концертов, но и книг. Она умела где то раздобыть совершенно редкие кассеты и грампластинки и приносила ученице стихи Пушкина, Лермонтова, Ахматовой, Цветаевой в исполнении Журавлева, Яхонтова, Царева, Дорониной, Кузнецовой. Вместе с легким шипением тяжелого и гладкого диска Наташа всегда могла расслышать ведомую только ей, почти невесомую, музыку слова, его тайный, волшебный ритм, его неуловимое колдовство, так беспомощно называемое совершенством.

Странно, но Наташа отчаянно не любила книги, написанные шрифтом Брайля. К тому же, их всегда трудно было достать. В библиотеке Общества слепых, куда записала Наташу мать, на них всегда была огромная очередь, а потом, шершавые страницы так неприятно кололи чуткие пальцы девочки, что она с трудом сдерживала слезы и всегда спешила закрыть книгу при первом удобном случае. Родители приписывали нетерпение и слезы Наташи ее капризности, но видя, как быстро развивается память дочери и ее музыкальные способности, не решались настаивать на своем, тем более, что не любя чтение по Брайлю, Наташа, тем не менее, освоила азбуку и научилась писать этим методом. Причем для изображения букв она подбирала разные карандаши и невозможно было убедить ее написать слово каким – то одним цветом. Она утверждала, что тогда не будет слышно

музыки, мелодии слов. В освоении грамматических правил ей ненавязчиво помогла все та же Валерия Павловна, приведшая в дом Ивинских свою знакомую, Татьяну Васильевну Панченко, учительницу литературы в старших классах гимназии, что была неподалеку от их дома, в том же районе. Татьяна Васильевна, казалось, вовсе и не заметила того, что новая ее ученица немного не такая, как все. Для нее Наташа вовсе не была маленькою, беспомощной девочкой. Татьяна Васильевна беседовала с нею на равных, расспрашивала ее обо всем, что Наташа слышала, запомнила или, даже – увидела во сне. Как это ни странно, Наташе иногда снились сны. Цветные, яркие, будто переводные картинки. И Татьяна Васильевна просила ее описывать эти сны словами. Сначала девочке было невероятно трудно, она останавливалась, замолкала, подыскивая начало или конец фразы, но постепенно эта игра в описание так увлекала ее, что она забывала и о паузах, и о внутренних сомнениях, и о потерянных нитях мыслей. Дождинки их больше не ускользали от нее. Она научилась управлять ими, держать их прохладные и легкие нити на «кончике души», как говорила Татьяна Васильевна. Годы катились, бежали, шли, а они, эти нити, словно заполняли ее всю, до краев, постоянно жили в ней, и она могла не только передать их цвета и запахи, звуки и оттенки, но и превратить все это – в музыку, в нечто осязаемое для нее, осязуемое, реальное... Рояль оказался надежным хранителем секретов, чутким и понимающим. Обрывки мелодий, которые сочиня-

ла девушка, обращая сны в реальность, словно впитывались в кончики его клавиш, отпечатывались в них навсегда...

Впрочем, нет, иногда Наташе казалось, что она может переиграть, пересочинить тот или иной сон, создать его заново. Она чувствовала себя при этом удивительно, словно бы наблюдала за собою со стороны, и видела себя тем самым внутренним, сосредоточенным зрением, которое тем, кто окружал ее, казалось невероятной фантазией, выдумкою, которая, тем не менее, позволяла ей прочно стоять на ногах, создавая свой собственный мир. В мире этом она вовсе не воображала себя какую то сказочную красавицей. О, вовсе нет!

... Она была в этом «полете внутреннего видения души» всего лишь неким тонким и восприимчивым органом, которому подвластны звуки, их гармония и их диссонанс, едва слышимый, едва различимый, для обычного, человеческого уха... Часами она сидела молча, опустив руки на клавиши рояля, плотно смежив веки и впуская в себя абсолютно все звуки, окружающие ее. И когда мелодия созревала внутри, она выпускала ее наружу, как большекрылую, нетерпеливую птицу. Птицы и вообще были ее любимцами. Летними и весенними утрами они спокойно садились на подоконник, прирученные ее легкой рукой и мягким голосом. Она давно и точно различала их по шороху крыльев, по щебету, веселому чириканью, по особому, почти неслышному, сту-

ку клювиков. Голубиное воркованье научило ее с легкостью определять полуденный, жаркий, и послеполуденный, «томный», час, акварельную ясность или капризную переменчивость погоды.

Дождь тоже был для нее легким, ненавязчивым другом, стук капель дразнил ее мелодиями, которые надолго поселились в ней, звуча как бы исподволь. Меняя такты, ноты, высоту диеза и бемоля, она, молчаливо и вдумчиво, десятки и сотни раз проигрывала песни дождя внутри себя, утонув в старом, потертom, продавленном кресле, которое стояло в такие минуты близко перед окном. А окно было распахнуто настежь, и дождь вольным гостем залетал в комнату, оставляя брызги – следы на ее щеках, лбу, волосах, кистях рук. Ей нравилась шаловливая ласка дождя, нравилось и легкое молчание, к которому располагали его визиты. Она совершенно бесстрашно гуляла в дождливую погоду, в аллеях скверика неподалеку от дома, опираясь на локоть то Татьяны Васильевны, то – Валерии Павловны, а то – матери или отца.

Родители, принимая участие в ее прогулках, старались не мешать сосредоточенному молчанию дочери, ее погружению в себя, а если она хотела говорить, не прерывали ее рассказов, удивлявших их порывистостью и поэтичностью, бурной, эмоциональной окраской. Татьяна Васильевна и Валерия Павловна напротив, выслушивали Наташу более деятельно, ненавязчиво пытались дополнить ее впечатления красками своего мнения, решались даже и спорить, а потом

в конце, все вместе весело смеялись найденной общей отгадке, мнению, озарению...

...Сидя сейчас за инструментом, она вспомнила внезапно, как несколько лет назад, вернувшись с такой же вот, вполне обычной прогулки, Валерия Павловна, едва отряхнув дождевик, решительными, твердыми шагами прошла в гостиную, где отдыхал в тишине и блеске безмолвного рояля отец Наташи. Девушка сама разделась и тихо прошла на кухню, готовить чай. Она знала, что ей не полагалось мешать разговору «очень взрослых». Но этот самый разговор в тот дождливый, смутный вечер перевернул всю ее дальнейшую жизнь.

– Антон Михайлович, мне нужно с Вами серьезно поговорить о будущем Вашей дочери! – Прямо с порога начала учительница. – С ее редким дарованием ей очень нужна консерватория. Она сочиняет музыку на ходу, чуть ли не из капель дождя, чуть ли не из шороха падающих листьев в парке...

– Я знаю, – флегматично и как – то обреченно отозвался Антон Михайлович. – На днях она с матерью вообще нам сыграла мелодию света в лампочке. А через минуту ее уже забыла. Вас не было, чтобы записать ноты, а приемник мы с Аллой не успели включить! Пока нашли кассету, все было кончено, увы! – Антон Михайлович развел руками.

– Наташа – гениальный импровизатор, поймите, такие дарования встречаются очень редко, быть может, раз в тысячу лет! Ей нужен сильный консерваторский педагог, с индивидуальной методикой. Ее ждет блестящее будущее, и греш-

но Вам, как родителю, будет им пренебречь, Антон Михайлович! – Валерия Павловна прижала ладони к разругавшимся, холодным щекам. По комнате поплыл знакомый дому, горьковато – прохладный аромат цитруса, исходящий от намокших под дождем орехово – золотистых пряжей.

– Сколько же стоят занятия с индивидуальным педагогом из консерватории? Мы ведь можем и не потянуть с Аллой Максимовной.

Я – инженер, Алла – библиотекарь. У нас и так не густо с финансами, почти пять лет отдавали кредит за инструмент, и каждое лето еще возим Наташу к морю.

– Я все понимаю, Антон Михайлович, но ведь если только Наташеньку примут в консерваторию, педагог станет с нею заниматься бесплатно!

– Вот, вот: «если только»! – с досадой хмыкнул Антон Михайлович. Он выглядел явно расстроенным и взволнованным. – Вы что же, милая Валерия Павловна, забыли наши с Вами хождения в консерваторию в прошлом сентябре?! С нами даже и говорить никто не стал! Сколько мы там пороги били! Аллу чуть вообще инфаркт не хватил. Только они заглянули в эту пресловутую форму 083 и все... От ворот – поворот: «Не подходит годами, инвалид, нужны специальные условия!»

– Но в прошлом году Наташе было только пятнадцать лет. Сейчас ей уже почти шестнадцать. И, кроме того, если мы

с Вами напишем ходатайство в Министерство образования, то Наташе просто разрешат, в порядке исключения, заниматься с педагогами по индивидуальной программе, я больше чем уверена, разрешат! Курс обычной школы она ведь закончила. Экзамены у нее экстерном приняли, и даже учитель географии был удивлен ее познаниями в такой далекой от музыки науке! – не отступала от своего Валерия Павловна, и голос ее звенел от волнения. Ореховые с золотистым отливом, пряди волос, выбились из аккуратного низкого узла, своевольно нарушив гармонию прически. Но она, не замечая ничего, продолжала: – Георгий Павлович был буквально ошеломлен тем, что Наташа с потрясающей точностью назвала ему широты, климатические особенности и даже цветовую гамму стран Европы, Азии и Южной Америки. Он сказал мне, что она – чудо, и ее ждет большое будущее, а зрение – это еще не все, и не стоит сдаваться так легко, уступая жизнь недугу!

– Вы так думаете? – Антон Михайлович посмотрел с насмешливым, горьким сомнением на учительницу, поправил пятернею взъерошенные волосы.

– Я и не сомневаюсь! К письму в Министерство мы приложим кассеты с импровизациями Наташи и пояснениями. В консерваторском образовании и музыке – вся жизнь девочки, она может стать блестящим музыкантом и композитором – импровизатором. Таких в мире – единицы. Даже Гиллельс и Рихтер имеют всего лишь статус исполнителей – ар-

тистов. Здесь же несколько иная грань таланта, уникальная, поверьте!

– Грань таланта... – Антон Михайлович отошел к окну, чуть отодвинув штору, взглянул сквозь стекло на улицу. По бульвару, в струях дождя, круглыми разноцветными островками плыли зонты, скрывая спешащих по своим делам людей. Все казалось размытым и нечетким, кроме резких косых струй, упруго хлещущих в стекла. – Грань таланта, конечно, да... Но меня беспокоит и другое. У моей дочери нет даже друзей, круг ее общения до невероятия сужен сейчас, и сможет ли она полностью выразить себя в том, чему принесет по нашей воле громадную жертву – в музыке? Нужен ли кому-то в нашем обществе слепец – музыкант, пусть и гениальный? Я чаще вижу совершенно обратное, поверьте!

– Вы о чем, Антон Михайлович? – Недоуменно уставилась на него учительница.

– Я все о том же! – Антон Михайлович чуть усмехнулся. – Инвалидов в нашем обществе презирают, если не сказать, ненавидят! В прошлом году, когда мы были с Наташей в Ялте она, на песке, на ощупь, нарисовала пальцами какую-то нотку или знак. Пыталась запомнить, как звучит музыкально шум волны, о чем она говорит. Так мальчуган, неподалеку бегавший с мячом, и все искоса поглядывающий на нее, вдруг сорвался с места и яростно заплясал на том месте, где Наташа только что нарисовала нотку. Такой, знаете, дикий

танец победителя – ирокеза, с воплями и криками. Мы с дочкой растерялись от неожиданности, а он не успокоился, пока не затоптал весь ее рисунок. Потом так же неожиданно, вихрем сорвался с места и убежал. Я хотел его догнать и надрать сорванцу уши, но Наташа с силой удержала меня за рукав. Она и вообще в тот момент держалась на удивление спокойно. Это потом я уже заметил, что ее щеки горят и блестят от слез. – Антон Михайлович зябко обхватил ладонями локти, повел плечами. – Дети слишком жестоки и к вполне здоровым людям, а что тут говорить об инвалидах!

Напряженная тишина воцарилась в комнате. Слышно было, как на кухне шипит вода в кране, звенит посуда. Это восхваляемое ими юное дарование, осторожно и медленно, ощупывая чуткими пальцами знакомое до шороха и каждой колкой крупинки пространство, с тщательностью накрывало стол к чаю. Девушка нервничала и все время пыталась прислушаться к тому, что происходит в гостиной, но двери ее оказались предусмотрительно закрытыми чуткой Валерией Павловной. И потому Наташа совсем не расслышала удивленного вскрика отца в ответ на неожиданно – резкое и решительное заявление ее любимой учительницы:

– Антон Михайлович, я думаю, мальчик не хотел ничего дурного! Вы не допускаете мысли, что ему просто могла понравиться Ваша дочь? Подростки часто выражают подсознательную симпатию довольно парадоксально.

– Нет, – отец Наташи удивленно свел брови к переносице

и потер локти кончиками пальцев. – Я совершенно не подумал об этом. Как-то, знаете, и не пришло в голову. Я помню, что этот дикарь – сорванец несколько дней подряд попался на глаза: сидел за соседним столиком в кафе, сталкивался с нами в холлах пансионата, около лифта, на прогулках. И взгляд у него всегда был какой то вызывающий, колкий.....

– А Вы бы предпочли, чтобы он смотрел на Наташу с жалостью? – Валерия Павловна вынула шпильку из волос и почему то крепко сжала ее в ладони, другой рукой пытаюсь поправить пряди.

– Не знаю. – Антон Михайлович растерялся. – С чего Вы это взяли? Хотя, быть может, и да.. Он все пытался как – то толкнуть ее, задеть локтем. – Антон Михайлович увел разговор в сторону, и как показалось Валерии Павловне, нарочно. – Да, он и, правда, делал все, чтобы только она обратила на него внимание! Он так и не понял, что она слепая. Даже когда убегал от меня, оглянулся пару раз. Кажется, с недоумением...

– Конечно, – Валерия Павловна слегка улыbnулась и сморщила лоб, только теперь почувствовав, как больно впилось в ладонь острие шпильки. – Он ведь ждал, что это Наташа побежит за ним, а не Вы! Толкнет его, возьмет за руку, возмутится, заговорит. И они так, наконец, познакомятся.

– Вы меня озадачили и удивили, честное слово! – Антон Михайлович снова усмехнулся, но на этот раз усмешка бы-

ла уже не такой напряженной. – Я как-то и не задумывался до сих пор, что наша с Аллой Ташка может кому – то нравиться.

– Какие глупости! Ваша дочь очень обаятельна. И потом, знаете, – Валерия Павловна говорила медленно, выдерживая в словах едва заметную паузу, словно не на полном выдохе, – Та музыка, которая в ней звучит, живет, плещется, как море, она дает ей тайну, загадку, «прелесть необъяснимую,» – как, наверное, сказал бы наш классик...

– «Неизъяснимую», – тихо обронил Антон Михайлович, думая о чем то своем.

– Что? Что Вы сказали? – Валерия Павловна, заговорила быстро и нервно, словно внезапно очнулась от глубокой дремоты. Шпилька по-прежнему остро впивалась в ее ладонь.

– Александр Сергеевич говорил: «неизъяснимую». Это его прилагательное. Вы ведь «Капитанскую дочку» сейчас цитируете, не так ли?

Валерия Павловна сдавленно кивнула и смахнула со щеки дождинку. Или слезу? Догадаться было довольно трудно. Прежде чем она снова заговорила, прошла, пожалуй, целая минута. Или секунда, загустевшая в пространстве комнаты серым киселем осеннего дождливого полдня.

– Антон Михайлович, Вы не должны воспринимать Наташу, как инвалида. Это – заблуждение. Она – здоровый человек, только, я бы сказала, зрение у нее необычное... Зрение души, что ли.. Острое, острее, чем у иных зрячих! И много-

гранное!

– Это знаем только мы с Вами. Вы да я. Для остальных Наташа всю жизнь будет человеком с ограниченными возможностями. И никому, никому не нужен будет ее неограниченный талант! За это ее постараются как можно скорее уничтожить, затоптать, смять. Вы же знаете, талант почти всегда вызывает зависть, и так редко – восхищение.

– Почему же у Вас такой напряженный взгляд на жизнь, Антон Михайлович? – Валерия Павловна вся как-то внутренне сжалась, съежилась. – Ведь люди – везде люди, пусть и со своими сложностями характера, с какими то недостатками, но они же вполне способны оценить Талант, дарящий красоту. Душа ведь всегда тянется к ней, красоте, у всех! – как бы убеждая саму себя, с нажимом, проговорила Валерия Павловна.

– Нет, а Вы, оказывается, еще и идеалистка неисправимая! – Антон Михайлович рассмеялся, но в нотках его смеха снова звучала напряженность, прорывающаяся как бы исподволь. Что он прятал в ней, напряженности? Боль? Растерянность? Отчаяние? Трудно было угадать и услышать. – Страна в тартарары «дикого капитализма» прикатилась, наркотики чуть не в каждой подворотне, а Вы – о красоте говорите. Уже и артисты заслуженные заявляют открыто, что опера и классика – искусство для избранных, а всех избранных вырезали и убили еще в семнадцатом году! Не согласны со мной? – Антон Михайлович внезапно закашлялся и, по-

перхнувшись, смолк, отмахиваясь рукою. Валерия Павловна вздохнула, чуть приподняв округлые плечи в ажуре тонкого пуловера, сцепила вместе тонкие донельзя, красивые кисти рук, и каким то чужим, усталым голосом произнесла, словно обронила на пол бусину:

– Мужа моей прабабушки расстреляли в девятнадцатом году. Где-то под Омском.. Бабушка осталась без отца в пятилетнем возрасте. Она молчала о матери. Вообще, обо всем молчала. То, что мой прадед был офицером, я узнала совсем недавно, взглянув на обрывок старой фотографии. Он там в белой папаше. Знаете, белую папашу носили ведь только офицеры..

– Он был в армии Колчака? Омск это ведь – Сибирь, адмирал Колчак..

– Не знаю. Наверное. Они переходили реку, он провалился под лед, едва не по грудь. Попал в лазарет. Походный. Там и расстреляли. Больного. Может быть, даже – лежащего на кровати. Я так думаю. Просто представляю это себе, когда закрываю глаза. Никто ведь не может теперь мне сказать всю правду, до конца... Все, кто знал ее, умерли... Теперь уже – все равно!

– А Ваша прабабка?

– Она умерла в Сибири. От тифа. Еще совсем молодая. А Буленька попала на воспитание к чужим..

– Буленька?

– Мы так все звали нашу бабушку в детстве: я, Маша и Артем. Это мои брат и сестра. Буленька первая твердо сказала маме, что я должна учиться музыке, что у меня есть слух. А ведь ей можно было не поверить. Она всю жизнь проработала в ателье, приемщицей. Помогала модельерам придумывать фасоны платьев. У нее был изящный вкус, она безошибочно, как будто бы вслепую, могла выбрать фактуру ткани, цвет модели, подбирала украшения. И еще она рисовала чудно. Знаете, даже силуэты умела из бумаги вырезать, на кружево похоже. Мы потом этими силуэтами любили разыгрывать на стене домашние спектакли. Буленьку мы всегда просили сказку рассказать на ночь, так у нее они всегда необычные были и забавные, сказки! Потом, уже подрастая, я узнала, что она их выдумывает, чуть не на лету. – Валерия Павловна тихо, просветленно, улыбнулась.

В тишине, воцарившейся на миг в квартире, вдруг явно слышался стук Наташиной трости. Двери распахнулись. Девушка замерла на пороге, держа легкую бамбуковую палочку наперевес, как зонтик или шпагу, и после секундной паузы, поправляя локоны, своенравно лежащие на плечах густыми завитками и улыбаясь, несколько нервно, тихо проговорила:

– Па, Валерия Павловна, Вы идете чай пить? Я коричневый рулет уже достала из холодильника, запах на всю кухню! Идемте, остынет же!

– Может, мы подождем Аллу Максимовну? Или ты голод-

на? – нерешительно возразила Валерия Павловна.

– Мама вернется поздно, у них там сегодня очередной тематический вечер, будет все это часов до восьми. Удивляюсь, как это рассказ о сестрах Бронте можно уместить в один вечер? Это же – целая жизнь! А за два часа, что можно сказать? Десяток скучных фраз?

– Ну, ты не права, Ташка! За два часа можно много рассказать, – Антон Михайлович подошел к дочери, осторожно положил руку ей на плечо. – Тебе-то самой нравятся сестры Бронте?

– Книги – нравятся. А жизнь – нет. Мрачно чересчур. Я этого не люблю. Ну что это, папа, сам посуди: судьбу свою загубили, смотря из окна на эту вересковую пустошь, Брайан стал морфинистом, Энни и Эмили умерли от чахотки, Шарлотта вышла замуж за нелюбимого. Зачем? Ни грамма сопротивления судьбе. Как будто бы они плыли по течению!

– Наташа, ты забываешь, они были дочерьми священника, – тихо обронила Валерия Павловна. – Смирение и покорность судьбе были у них как бы в крови. А Шарлотта и сама стала женою пастора Николса.

– Это так удобно, – спрятаться за смешного Бога, дедушку на облаке – и самому ничего не делать! Смирение, терпение! – насмешливо протянула девушка. – Один французский писатель, не вспомню сейчас фамилии, сказал, что «терпение лишь крайняя степень отчаяния, замаскированная под добродетель». А я не люблю отчаяния. Кажется, даже не су-

мею никогда выразить его музыкой. Хотя, думаю, что оно похоже на большую птицу: ворона или орла, с очень цепкими когтями. Они, когти эти, впиваются в грудь, и тогда так трудно дышать. – Бледные щеки девушки внезапно окрасились румянцем, резко обозначились скулы. – А я люблю дышать полной грудью.

– У тебя внутри много свободы. Тебе ее дала музыка. У сестер Бронте, наверное, ее было гораздо меньше, – все также тихо, но весомо проговорила Валерия Павловна. – Вересковая пустошь не могла им ее дать, увы!

– Почему? Пустошь это ведь тоже – образ свободы. Она же была открыта всем ветрам! – Девушка пожала плечами, вздохнула. – Все равно – не понимаю.

– Или, наоборот, пустоты, одиночества. Весь их порыв к свободе это – их книги, согласись?

К этому времени спорщики, все трое, уже прошли на кухню – маленькую, тесную, но уютную, с нарядными, воздушными занавесками в кремовых воланах и красным эмалированным чайничком в белый горошек, весело свистящим на плите, и Валерия Павловна осторожно усадила ученицу на стул, неслышно передвигая чашки по нарядной скатерти. Антон Михайлович, повернул конфорку плиты, втянул в себя воздух:

– Как корицей пахнет! Вкусно! Тебе сколько положить кусочков, дочка – хозяйюшка?

– Два хватит. Спасибо, папа. – Девушка уверенно взяла

в руки протянутую тарелку с пирожным. – Мне вчера звонила Лиля Громова. У нее мама в больнице лежит.

– А что случилось? – Валерия Павловна очень старалась не звякнуть ложкой о блюде, но это ей не удалось. Она поморщилась, с досадой. – Что – то серьезное? Операция?

– Нет. – Наташа говорила спокойным, бесстрастным голосом, но щеки ее по прежнему атели нервным румянцем. – Она наглotalась таблеток каких то. Пока Лилька в школе была, а Дима – у бабушки. От них отец ушел на той неделе.

– Как ушел? Куда? В экспедицию что ли или командировку какую? – полюбопытствовал, неспешно глотая чай, Антон Михайлович.

– Если бы, Па! Нет. К другой женщине. И записку оставил не Инне Сергеевне, а Лильке. Мол, «люблю Вас по – прежнему, будем общаться, но с Вашей мамой никак жить не могу, мы друг друга исчерпали. Колодец души – иллюзия». Спиноза несчастный! Они же с Лилькиной мамой семнадцать лет прожили, их что теперь – выкинуть в окно, эти годы? У Инны Сергеевны сначала сердечный приступ был, а потом она как – то стихла, разом потускнела. Лилька говорит, молчала и молчала, все время Таблетки собирала. Лилька считает, что это их бабушка виновата, Ангелина Петровна. Вам еще чаю, Валерия Павловна? Я налью.

– Сиди, я сама. Но как же это – бабушка? – растерянно и удивленно проговорила Валерия Павловна, вспыхнув щеками и тонкой шеей. – Разве же она желала какого зла им

всем? Такого не может быть! Или по недосмотру оставила на виду лекарства какие? – Пар тонкой змейкой взвился над чашкой, обжигая лицо и глаза Валерии Павловны, но она этого не заметила, только чуть поморщилась, отмахнувшись от пара ребром ладони.

– Нет – Девушка качнула головой. – Понимаете, бабушка, мама Инны Сергеевны, у них в церковь ходит. В Никольский собор. И вот она ей все говорила: «Смирись, терпи, прости. Господь испытание посылает тебе и детям!» Ну вот, Инна Сергеевна и смирилась. Замолчала. До ста таблеток. – Наташа, как показалось Валерии Павловне, усмехнулась, немного зло и потерянно. Углы ее губ опустились, не по юношески, резко – вниз, складки щек трагично исказили лицо.

– Девочка, милая моя... – Валерия Павловна глухо кашлянула, нервно перебирая пальцами черенок ложечки. – Ты ведь еще не была влюблена. Нельзя так резко судить. Вот когда полюбишь...

– Я полюблю только один раз. Но всей душой. У меня не будет времени выбирать и перебирать. Это будет единственный раз в жизни, наверное. – серьезно и спокойно проговорила девушка. – Моя Судьба – в музыке. Со мной рядом будет только тот, кто поймет это. И потом, меня не просто любить, Вы же знаете...

– Почему? Ты же у нас такая красавица! – Валерия Павловна улыбнулась, дотронувшись пальцами до тонкого, нервно пульсирующего запястья девушки.

– Нет, при чем здесь это? Я знаю, что я – не урод! – Наташа тоже открыто, обезоруживающе улыбнулась. Улыбка эта, тихо вспыхнувшей, летней зарницей осветила все ее лицо, даже и невидящие, глубокие впадины глаз, слепо распахнутых куда – то вдаль. И тут же погасла. – Не в этом дело. Меня просто нельзя предавать. Со мною рядом нужно быть сильнее всех своих мелких страстей. А таких людей сейчас мало. Вот и Лилькина мать – не исключение!

– Многие из нас слабы. Мы ведь просто люди, а не Боги, пойми, Наташа. Любовь часто единственное, что есть в жизни человека настоящего. Как вспышка молнии она озаряет нас. И, теряя ее, мы часто теряем все, что составляло некогда для нас смысл Бытия. Легко все судить, труднее – все понять, девочка моя! – Лицо Валерии Павловны стало задумчивым.

– Не скажите. Есть ведь вещи и поважнее любви на свете, – негромко вмешался в разговор Антон Михайлович, до тех пор напряженно молчавший. – Дети, совесть, дело, которому служишь. Долг. Очень часто приходится выбирать между всем этим и просто – любовью. Это сложно. А мы часто делаем ошибочный выбор. И только гораздо позже постигаем, что любовь, это еще – не весь мир... – Антон Михайлович вздохнул, скользнув взглядом по фигуре Валерии Павловны. – Уже шесть, а дождь не прекращается, – Как бы некстати произнес он.

– А я – без зонта, и мне пора домой, – весело подхватила учительница и вмиг почему – то стала похожа на расшалив-

шуюся девочку с грустными, взрослыми глазами – Вы меня не проводите?

– Я как раз и думаю над тем, что Вас нужно проводить, хотя бы до стоянки такси, – Антон Михайлович резко, пружинисто поднялся со стула. – Собирайтесь, я перекурю пока.

– Папа, на лестнице холодно! – мягко возразила дочь. – Покурил бы в форточку. Мамы все равно нет.

– Мама такая же, как и ты – все моментально учует носом! – усмехнулся Антон Михайлович, – Да и неохота, чтобы ты кашляла, от этих моих тайных вылазок в форточку.

– Я не снежинка, не растаю. И потом, мне нравится, когда ты куришь. Я люблю запах сигарет. Валерия Павловна, завернуть Вам рулет? Пусть Артем попробует...

– Спасибо. Он у нас большой сладкоежка. Доволен будет. – Валерия Павловна собрала чашки и блюда в высокую пирамидку, донесла до белой раковины, но как – то слишком поспешно уронила их внутрь. Они раскатились по глубокому эмалированному дну, жалобно дребезжа. Пальцы Валерии Павловны дрогнули. – Прости, сегодня я что – то неловкая такая. Устала, наверное! – Учительница попыталась неуклюже извиниться.

Девушка в ответ легонько вздернула подбородок вверх:

– Ничего. Они не разбились, не переживайте. Я поняла это по звуку. Она ободряюще коснулась кончиками пальцев локтя учительницы. – Действительно, трудно – любить, когда тебе не могут ответить. Но, главное, ведь – любить? Все по-

чему-то так считают. – Тут девушка пожала плечами. – Хотя это порой – невыносимо. Я бы не смогла так. Зачем себя растрчивать понапрасну? Нужно очень много сил, чтобы просто жить....

Валерия Павловна еле слышно прошептала:

– Ты права, милая Меня утешает лишь то, что я люблю достойного человека. Это мне как то облегчает бремя неразделенности. Я теперь понимаю, что иного и не может быть у меня в судьбе....

– Никто не знает, что станется с нами завтра, Валерия Павловна! – горячо возразила девушка.

– Я не хочу думать про завтра. Есть сегодня, и этого достаточно, девочка! Вполне. Знаешь, есть такая английская поговорка: «Завтра не наступает, потому что, завтра это уже сегодня и вчера».

– Помню. – Наташа сдержанно улыбнулась. – Вы говорите так, что я всегда запоминаю то, что Вы мне сказали. Почти дословно. А Татьяна Васильевна все больше философствует. От ее разговора в душе остается только – суть.

– Ее предмет к этому очень располагает. – Из крана полилась теплая струя, нервные пальцы учительницы коснулись гладких стенок чашки. – Правда, они не разбились, ты верно услышала! Какое у тебя чутье!

– Просто, когда движения чуть замедленны, траектория падения, скорость или угол иные. Так было написано в учебнике физики. Даже человеку надо падать в замедленном тем-

пе. Тогда ушибов меньше.

– Что-то я сомневаюсь! – Валерия Павловна усмехнулась, вытирая руки об полотенце. – Я в детстве была вся в синяках и царапинах, хотя славилась своей медлительностью. Впрочем, так считала лишь мама. Буленька же называла меня «сильно задумчивой барышней». Оттого, что я была вся в себе, я постоянно натыкалась на все углы и косяки.

– А теперь?

– И теперь та же история. Только синяки не видны. Они в душе.

Хлопнула входная дверь и запах недокуренной сигареты едко, удушливо влился в сладковатый, пряно – коричный туман кухни.

– Валерия Павловна, Вы собрались? По-моему, дождь усиливается, разверзлись хляби небесные! – Антон Михайлович вернулся на кухню, потирая ладони. – На лестнице, и вправду холодно, Ташка. Я порядком озяб. Мама не звонила?

Нет. – Девушка покачала головой. Еще рано. – Одевайся теплее, не выходи налегке. Ты ведь тоже быстро простужаешься, Па!

– Может, Вам и не стоит суетиться, Антон Михайлович? Я дойду сама. Вдруг автобус подойдет быстро? – возразила Валерия Павловна, беря в руки сверток, сильно пахнущий корицей. Она словно грела об него озябшие ладони Вообще, вся она в этот момент напоминала потерянную, замерзшую

пичужку, нечаянно залетевшую в чужое, уютное гнездо....

...Когда Антон Михайлович вернулся, Наташа все также сидела на своем месте, у окна, осторожно касаясь пальцами мягкого банта – волана на шторе. Она тихонько теребила его, пристально смотря, как и все слепые, в одну, видимую только ей точку, и думая о чем-то своем, сокровенном, глубоком.... Отец, не решившись нарушить ее раздумья, молча подошел к плите, налил себе чашку уже порядком остывшего, но еще греющего заледеневшие ладони, чая.

– Что-то ты долго, Па! Такси не было? – Голос дочери звучал спокойно, чуть глуховато, словно она очнулась от внезапно охватившей ее дремоты.

– Дождь. Все машины идут прямо в парк, – Антон Михайлович, чуть свистя, втянул в себя янтарную жидкость. – Мама не звонила? Уже семь....

– Вечер до восьми. Не беспокойся, у нее обязательно будут провожатые... Что тебе сказала Валерия Павловна?

– Что придет завтра в четыре. У нее с утра репетиция в музыкальном училище. Не то спевка, не то этюды.... Провожатые? Это кто же?

– Петр Егорович и Настя Сеницыны. Они ей помогали готовить вечер. Да и вообще, ты же знаешь, на маминых вечерах много народу. Даже из других районов приходят.

– Ну, да, я знаю.. И этот дипломат с пробором и в очках тоже из другого района....

Девушка насмешливо фыркнула:

– Пап, у тебя этот прибор прозвучал, как «ружьё», будто ты говоришь о каком то бандите... Кстати, почему ты его называешь дипломатом?

– Антон Михайлович смутился.

– Ну, так просто. Я его один раз видел. Весь такой прилизанный. И говорит как то слишком уж правильно. Еще он немного буквы гласные тянет, как будто от заикания в детстве лечился.. Не говорит, а песню поет. Странно как то слышать!

– Пап, тогда это не дипломат, а меценат. Олег Борисович Верещагин. Мамин спонсор.

– То есть? – в недоумении протянул Антон Михайлович, поставив чашку на стол.

– Ну, библиотеке же нужен спонсор. Для ремонта, оплаты новых поступлений. Вот они с Варварой Ильиничной и нашли через одну бабушку – читательницу мецената. Из числа дельцов. У него какое – то там свое кафе на проспекте Мира. Но он хочет прослыть благотворителем, меньше платить налоги....

– Это все мама тебе говорила?

– Да. Еще, какую то часть денег они надеются получить от Общества слепых, но там, навряд ли, что- то будет. Они свое районное отделение собираются вообще закрыть, оно не – рентабельное для системы хозрасчета. Слова то такие мудреные, Пап! – Девушка чуть усмехнулась уголками губ. – Холодные. И музыки в них нет совсем. Пустые слова внутри,

гулки, как пещерное эхо!

– Новые веяния, что ты хочешь! – вздохнул Антон Михайлович. – Не успели ничем наполнить еще. – А кем он раньше работал – то, этот меценат?

– Не знаю. Кажется, конструктором на машиностроительном заводе.

– Тогда хороший кусок пирога ему достался, что и говорить. Акции, наверное, приобрел, что-то скупил на них, теперь – богатеет.

– А что можно купить на акции? Мы ведь даже на эти самые, как их..... На ваучеры ничего не смогли купить, Па. Ты же их все отдал Константину Андреевичу?

– Да. Отдал. – согласно кивнул Антон Михайлович. – По простоте душевной. Теперь друг мой, Константин Андреевич, на ваучеры те фабрику по производству консервов купил. А мы с матерью да с тобой остались ни с чем. Умные люди пристраиваются, заводят знакомства, ищут всякие лазейки, ходы – выходы. Мне Костя предлагал сначала в долю войти, но какой с меня хозяин? Уже через месяц – другой я бы все равно не смог оплатить своими грошами счета фабрики за коммунальные услуги: воду, электричество, вывоз мусора. Что же мне было делать, дочка? Вот я и отдал ваучеры своему бывшему начальству, хорошему приятелю. Только приятель теперь на Кипре процветает. Аи я с мамой тебя в этом году даже в Сочи не смогу отвезти: в нашем экспериментальном бюро аврал за авралом, а зарплаты уже два ме-

сяца почти не дают...

Хорошо, что я еще в технологический колледж устроился, преподаю там теперь с «важностью академичной» черчение... – Антон Михайлович насмешливо крикнул. – Грошики на молоко с хлебом все-таки имеем. Так за то маминой директрисе, Варваре Ильиничне, большое спасибо. Что вакансию нашла.

– Па, ну ничего. Мы обязательно прорвемся. – твердо произнесла девушка. – Не грусти. Мне теперь хочется вволю послушать не море, а дождь. Я вот все думаю сейчас: а если я дождевые капли превращу в звуки, в музыку, то, услышав ее, узнав, меня примут в консерваторию?

– Не знаю, дочка! – Антон Михайлович растерялся. – Валерия уверена, что – да! То есть, я хотел сказать, Валерия Павловна...

– Она чудесная, Папа. Ей ее имя удивительно подходит. Больше, чем отчество. Если бы было мне можно, я бы ее называла Лерой. Просто – Лерой. Как сестру. – Наташа улыбнулась опять, каким то сокровенным мыслям, внутри души. И вдруг, помолчав с минуту, тихо добавила: – Она очень тебя любит, Па. Так спокойно. Обреченно. По – настоящему любит.

– С чего ты это придумала? – закашлявшись, прижав ладонь ко рту, выдохнул Антон Михайлович потрясенно.

– Пап, я ничего не придумала. Я это знаю. Слышу. У нее голос меняется, когда ты рядом. И все звуки вокруг нее ста-

новятся другими. Все ее движения, жесты. Воздух, которым она дышит. Ты извини, я пойду, мне хочется сыграть дождь, пока он не кончился.

С этими словами Наташа вышла из кухни, и стук ее тросточки стал почти неслышным<sup>184</sup>; утонув в мягком, потертом ворсе ковровой дорожки. Маленькая квартира с громадным роялем и заплаканными от дождя окнами, выходящими прямо на \*\*\*кий бульвар, стремительно погружалась в темную, вязкую густоту осенних сумерек.....

## Часть вторая

Воспоминания все еще не отпускали ее. Никак не отпускали...

Взяв тонкими, немного непослушными пальцами несколько негромких аккордов, она перебирала их, как бусины. Казалось, что звуки неслышно катятся по полу, блистая в лучах еще нежаркого утреннего солнца. Портьеры на окнах чуть колыхались от ветра, узорчатая тень аспарагуса, рассыпалась по шелку замысловатым узором, стекая каплевыми нитями на озаренный солнцем паркет. А она... Она ничего не замечала. Музыка воспоминаний полностью ее захватила. Она легко плыла в потоке времени, может быть, впервые поняв, что его, потока, не существует вообще. И никогда не существовало. Еще бы! Она чувствовала и ощущала тот первый миг встречи с Ним так, как будто это все было лишь вчера. А, может быть, и несколько часов назад. Несколько мгновений. Несколько едва заметных пылинок вечности, несущихся в зыбкой, звездной пустоте. Она, конечно, не могла увидеть выражения его глаз, черт его лица, цвета его волос. Но почувствовала взгляд, обращенный на нее, каким то особенным, «внутренним» зрением. Взгляд, будто бы скользящий поверху, будто бы – едва брошенный, но затаенно, до болезненности, любопытный... Любопытство, скрытое за едкой насмешливостью, проскользну-

ло и в голосе, странном, звучащем как бы в двух тональностях: бархатистом низком «до» и пронзительном, высоком „си“. Впрочем, иногда, после паузы, голос съезжал на «ля», делал тремоло и снова возвращался к глубокому «до», звуча, будто эхо в хрустальном бокале, переливаясь всеми оттенками.

– Послушай, Дэн, ты случайно не знаешь, а кто эта герла во втором ряду, волосы, как у Софи Марсо? Пальцы на полметра в длину, будто у лягушки – царевны, перепонки только нет, и смотрит все время куда то в себя, никого не видит, пуп земли, блин!

– Кит, очнись, она же слепая! Ты разве не слышал, это же та самая, Наташка Ивинская, с фортепьянного, крутая стипендиатка? Ты, она, Лилька Громова, Настя Звягинцева и Влад Мурашевский едете в Прагу через месяц, по обмену, я в деканате видел списки.... Везет тебе, братан, ничего не скажешь!

– Да, ну?! Уже все утвердили? Не думал, что так быстро! Классно! Слушай, это дело надо отметить. Может, промочим горло коньячком, в каком –нибудь барчишке? Я бы не прочь и мою флейту в поддельном «Хенесси» замочить на пару часов. Вдруг лучше звучать станет, зараза? Она у меня капризная, покруче любой герлы! – голос насмешливо взвился вверх, почти фальцетом, потом снова вернулся на низкие «шмелиные» аккорды. – Так ты говоришь, слепая? А, может, притворяется?

– Кит, ты двинулся, что ли?! Что ты несешь?! Зачем девочке так притворяться? С каких таких понтов?! Не мели ерунды. Она с четырех лет ничего не видит, зато играет, как Лист. . . . У них весь курс от нее на цырлах стоит!

– Ну, ладно, ладно, не заливай, Дэн! – хмыкнул недоверчиво Кит. – У меня уже и так полные уши, скоро через край польется. Сейчас же мода пошла на «понты», на шоу в любом виде. И она вполне может из себя Гурцкую разыгрывать. А что? Успех, сочувствие, фора всюду будет! Блеск, а не жизнь! Ты про нее еще скажи: «лабает, как Шопен»! Сам ты, что ли, слышал?

– Ну, слышал! – сердитый басок Дэна звучал напряженно, как разорванная гитарная струна. Похоже, он злился, и очень неумело пытался это скрыть. – У нее всегда – класс, а не игра! Импровизирует почти на лету. Скрип дверной может превратить в мелодию. Просто – кайф! Она Рахманинова второй концерт наизусть играет. Почти. Только один раз в коде ошиблась, на генеральной отчетного..

– Ну, прямо – Рихтер! – насмешка в голосе Кита все крепла, взвиваясь вверх. – Не познакомишь?

– Тебе зачем? – насторожился мгновенно Денис. Наташе показалось, что даже воздух с ним рядом сгустился и будто выпрямился, как и сам он, тонкий и узкоплечий, похожий на палочку своего кларнета, сейчас лежащего рядом, на соседнем сиденье.

– Как – зачем? – рассмеялся в ответ флейтист, капризно

и нервно. – Все – таки, вместе в Прагу едем, придется один город на двоих делить целый год.

– Хорошо, что не постель. Или ты уже и об этом думаешь? – насмешливо протянул Дэн.

– А что? Чем черт не шутит? – под Китом еле слышно скрипнуло сиденье. Вероятно, он пожал плечами. – Она безумно красива. Знаешь, эти мертвые глаза. В них какой – то особый шарм! Она как маска Нефертити из египетской коллекции Наполеона. Помнишь, мы такую видели, у меня дома? Гипсовый слепок – копия. Дядя привез из Каира?

– Вот – вот, «коллекции»... Тебе лишь бы «коллекционировать» бедных девчонок, будто они бабочки... Только Ивинская не годится для того, чтобы быть твоим экземпляром, неужели не понимаешь?!

– С чего это – не годится? Бабы, кажется, все одинаковы, это место у них, как скрипка, нужно только умело смычком водить и все! А у меня «смычок» классный. Все герлы в полном отпаде, сколько было и сколько есть!

– Не перетерся еще? Ну-ну! – Дэн хлопнул Кита по плечу, нервно хохотнув. – Смотри, канифоль его почаще, чтоб не сфальшивил. А Ивинскую, дружище, ты лучше в покое оставь, она не твоего полета птица. Да и потом, она же «божья дудка», музыкант до кончиков волос, не любит фальшивых нот, понимаешь? А ну как сорвется твой смычок, а? Что тогда делать? – Дэн снова коротко хохотнул.

– Ну, не хочешь знакомить и не надо! – Кит примиряющее

хмыкнул, потом громко зевнул. – Я и сам не промах, найду подход к этой не\*\*\*ной цаце, подумаешь, не первый раз таких, как она «окучиваю»!

– Слушай, Кит, не пошли, а?! – Голос Дэна неожиданно стал сухим и жестким, как янтак, перекатная колючка на гулком, степном ветру. – Мы с тобой не первый год дружим, я тебе многое «спускал на тормозах», но если ты Наташку Ивинскую хоть словом или еще как обидишь я тебя не то, что другом, человеком считать перестану, понял?! Не лезь ты к ней! Мало тебе на курсе флейтисток – пианисток, что ли? Обыкновенных? Как Лариска Мазурина, например? Вот и иди к ней. Она тебя всегда примет, в любой форме и в любой форе.

– Ну чего, чего ты так кипятишься, Дэн?! Я же не последняя свинья, в самом деле! Да и потом, чтобы ты знал, мы с Лорой уже с неделю, как расстались. Мирно, дружно. Она ушла от меня с улыбкой. Правда, вот дверью выстрелила так, что косяк треснул. Но это – ничего. Зато я теперь в свободном плавании. Слушай, ну познакомь меня с этой незрячей Клеопатрой, что тебе стоит? Нам все ж таки, вместе в Прагу ехать. Вдруг я ей пригожусь чем?

– Ее в Праге будет опекать сам профессор Моравски. Он к ней тебя на пистолетный выстрел не подпустит. Говорят, у нее уже есть эксклюзивный контракт на десять концертов с оркестром Пражской филармонии. Или – с Камерным. Не помню точно.

Ник ошарашено присвистнул:

– Вот это да! Не финта себе! Филармонический Пражский! Это где Карел СвОбода? А что она там у них играть будет?

– Моцарта. Слушай, Кит, я вообще, от тебя балдею, честно говоря! Ты что, совсем ничего не знаешь? Здорово, блин! Надо мне, как тебе, занятия по неделе пропускать. Ну, ты и кайфуешь, друг! По полной! Пока ты с Мазуриной роман свой докручивал, другие уже карьеру сделали. Я не врубаюсь, честно, как это тебя в пражские стипендиаты записали, если ты по неделям носа в консерваторию не показываешь?

Кит в ответ только самодовольно хмыкнул.

– Знакомых надо иметь, братец Дэн, знакомых. В наше время и всегда все решали связи.

В зале в это время послышался невнятный гул, шум, запахло погашенными люстрами, закулисной пылью, гулко раскатисто по всей глубине Белого консерваторского зала зазвучало верхнее «до» настроиваемой виолончели, где то скрипели ступеньки авансцены. Девушка передернула плечами, сморщила нос: на нее поплыла тягучая, густая волна резких ароматов. Публика постепенно заполняла зал. Среди все нарастающего шума она по – прежнему ясно различила негромкий, уверенный басок Дэна:

– Кит, нет, ну с тобой все на свете проворонишь! Антракт кончился, уже профессора идут... Двигаем, Казанова. Потом договорим. Нам же пора на сцену. Ты как, готов, или

верхнее «ми» тебе все равно – подсказывать?

– Не дрейфь, Дэн. Я перед этим был у Крохина, дал несколько жалобных нот, сослался на простуду, озноб, прорвемся. Ты мне перед верхней «до» указательным пальцем помаячь, я мигом врублюсь, авось пронесет!

– Вот, вот, «авось»... У тебя вечно все на «авось». Пошли, флейтист – солист, двигать классику «пиплу», пока кураторша Эмма Петровна нас яростно за шиворот не схватила. А то опять у нее подбородок десять минут прыгать будет от возмущения, как в прошлый раз, на третьем отчетном. Еще и по загровку накостыляет!

– Дэник, нет, ты в корне не прав. Это подбородок у нее от восторга прыгает, когда она меня видит.

– Ну, да, да, как же без этого! Горе мне с тобой, Джакомо хренов, двигай, давай, быстрее!

– Уже бегу. Прямо спешу и падаю. Нет, ну а как же мы все – таки решили то: познакомишь с фортепьянной Клеопатрой или мне самому придется ее атаковать? – дурашливо отбивался словами Кит, неторопливо лавируя между рядами белых с синим кресел, с невероятно скрипучими спинками.

В это же время на консерваторской сцене раздались первые нестройные аккорды оркестра, резкий стук дирижерской палочки, нежный стон настраиваемой прима – скрипки, жидкие хлопки публики, и все это как – то отдалило девушку от диалога, поневоле ее заинтересовавшего, «царапнувшего» ей душу. Она, посмеиваясь про себя, чуть нервно

покусывала губы, перебирая в уме реплики Кита, представляя себе его облик, почти тотчас нарисованный, пылким, настороженным воображением, и тем внутренним острым, никогда не дремлющим «зрением звука и запаха», которым она в полной мере обладала, и которое так часто не давало покоя ни душе ее, ни сердцу, ни уму....

Она вспоминала, полуприкрыв глаза, эти странные, ломкие модуляции его голоса, и не могла сказать, какие ноты в нем нравились ей больше: хрипловатые, с басовитой «хрустальной» трещинкой, по-кошачьи мягкие и ласковые или высокие, как звук тростниковой «орфеевской» свирели.. «Наверное, он и сам – то весь разный, как его голос, меняющийся, зависящий от настроения», – подумала она и вдруг улыбнулась самой себе. – «Это хорошо. Совершенно не люблю постоянства! А познакомиться с ним все – таки было бы интересно!» – неожиданно завершила она свою мысль и, сцепив руки на коленях, жадно вслушалась в первый аккорд увертюры к бетховенскому «Фиделио», постоянно, исподволь, стараясь уловить в мощной и полной гармонии симфонических звуков, голос флейты, тонкий и нежный. Но вместо флейты на первое место почему-то властно вступали скрипки и валторны. Когда она поняла это, то тотчас досадливо прикусила себе язык и прыснула в ладонь, тихо смеясь и над самой собою, и над наваждением голоса притягательно – самоуверенного незнакомца.

## Часть четвертая

...Прага неустанно чаровала ее туманами над Влтавой. Она их не видела, а вдыхала, ощущала полной грудью, чувствовала на вкус их прозрачность, сладковатый их флер, в который так часто вливался шепот реки, нежный, как дыхание полусонного младенца. Ее прогулки по Карловому мосту, под руку с неумолчно что-то говорящей Лилькой или, наоборот, сдержанно молчавшим, седовласым профессором Янушем Моравски, стали неизменной потребностью, привычкой. Рыцарь, охраняющий мост, стал ее молчаливым другом. Она часто подходила к нему, касаясь трепетными пальцами прохлады каменных лат, щитка забрала, шлема.

Касалась, совсем не обращая внимания на почти моментально сгущающийся вокруг нее воздух. Чужие, чуть – чуть недоуменные, а потом уже и смятенно – сочувствующие взгляды превращались именно в густой, как кисель, наполненный энергией воздух – почти что – огненный шар. Его запросто можно было бы потрогать рукой, но ей этого не хотелось. Пан Януш, дотрагиваясь до ее плеча твердыми и цепкими, как замок, костистыми пальцами старого музыканта, шептал на ухо, обжигая завитки ее волос сухой неровностью, а, может быть, и нервностью дыхания:

– Деточка, другие фигуры просто же станут Вас ревновать к пражскому стражу. Подойдите и к ним... Они ведь ждали

Вашего прикосновения почти двести лет!

– Может, больше? – мягко улыбалась она и натягивала на чуть озябшие пальцы прохладу замшевой перчатки. Движения ее были почти безошибочны, но иной раз она не могла попасть мизинцем в нужное место, приходилось долго выправлять палец, и когда пан Януш терпеливо пытался помочь ей в этом, она слегка поддразнивала его:

– Все, наверное, так и думают, будто Вы ухаживаете за мной... Вы не ловите на себе завистливых взглядов, пан профессор?

– Ну, может, было так – раз и два! – смеялся в ответ польщено старый музыкант. – Помилуйте, деточка, для меня то – честь высОка! Я согласился бы быть Вашим старым дедушкой, да и только.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.